

Игорь Волгин

«В тумане скрылась...»

– Вас к телефону, – окликнула меня редактор одесской теле-студии, как только мы вышли из прямого эфира. В середине 60-х приезд молодых московских поэтов в провинциальный город (тем более в такой, как славная своими культурными амбициями Одесса) становился событием довольно заметным. Неудивительно, что просвещенные одесские жители спешили излить свою благодарность в режиме, как сейчас бы выразились, онлайн.

– Слушаю, – сказал я, сдерживая законную авторскую гордость и предвкушая слова признательности, а может быть, даже любви.

– Не позволите ли задать вам один интимный вопрос, – в голо-се говорившего мужчины был различим не только вкрадчивый интерес, но, пожалуй, и некоторое замирание перед возможным ответом. Обычно так интонируют интеллигентные девушки, вопрошая о ближайших творческих планах. Именно этого вопроса я и ожидал, уже прикидывая в уме солидную и слегка интригую-щую формулировку.

– Скажите, дорогой товарищ, – ласково продолжал мой собесед-ник, – где вам удалось надыбать такой замечательный галстук?

Вообще-то, галстуков я не ношу. Этот же был куплен в виде исключения – на знаменитой одесской барахолке (толкучке или толчке, где, по уверениям знатоков, можно было по частям приоб-рести даже атомную бомбу) – в надежде *показаться* взыскатель-ной местной публике.

Не помню, открыл ли я правду своему телефонному поклон-нику. Впрочем, теперь это уже неважно.

...Впервые я очутился в Одессе в 1963 году, еще будучи студентом Московского университета. Годом раньше Павел

Григорьевич Антокольский напутствовал меня в «Литературной газете».* Я довольно много печатался и после одной журнальной публикации получил письмо, тронувшее меня горячностью и приязнью. Мой корреспондент проживал в Одессе: у нас завязалась переписка.

Летом, как сказано, 1963 года я впервые увидел море. Оно действительно оказалось большое и в самом деле смеялось. А каким еще могло оно быть в Коктебеле, где за семьдесят копеек в сутки я снял увитую диким виноградом веранду – в двух шагах от писательского Дома творчества? Там на пляже как раз исполнялась только что сочиненная песенка (продукт коллективного творчества) – «ответ» на статью Аркадия Первенцева, заклеившего в «Комсомольской правде» бородатых бездельников, отравляющих честным труженикам отдых в Крыму:

Какая чудная земля
Вокруг залива Коктебля,
Колхозы, бля, совхозы, бля, природа.
Но портят эту красоту
Сюда приехавшие ту-
Неядцы, бля, моральные уроды...

Ранним утром мы с автором «Кортика» Анатолием Рыбаковым (его сын Саша учился со мной на истфаке) отправлялись в Лягушачьи бухты. Анатолий Наумович был подвижен, усмешлив и *знающ*. Я жадно слушал его рассказы (30-е годы, Бухарин, Горький, Киров, процессы, война, Сталин, Ахматова, Зощенко и т. д.): несмотря на «мощную тягу к источникам точного знания» (как выразился в своем напутствии Антокольский), многие из этих источников были для нашего поколения недоступны.

Иногда нам сопутствовал Давид Самойлов: он «как никто шутил».

Овеянный беспечным и вольным коктебельским воздухом, я решил продолжить свое первое в жизни южное путешествие. Меня – без видимой, казалось, причины – потянуло в Одессу.

Единственным (да и то заочным) тамошним знакомцем был мой одесский адресат. Я надеялся воспользоваться его

* П. Антокольский. Стихи Игоря Волгина // Литературная газета. – 1962, № 87.

гостеприимством. Однако Саня Авербух вместе с другими студентами местного филфака, как это и полагалось, находился «на картошке» (или «на кукурузе»?) и должен был вернуться через несколько дней. Тогда я отважился посягнуть на легендарную «Лондонскую»: лишь столичной самоуверенностью и изрядной долей снобизма объясним этот авантюрный порыв. Номер (можно сказать, гостиничный номер), естественно, не прошел. Но тут я вовремя вспомнил, что в кармане у меня покоится давно просроченное удостоверение «Московского комсомольца»: членам литобъединения при молодежной газете полагался этот ободряющий документ («К любимым чертям с матерями катись любая бумажка, но эту...»). Солидная коричневая корочка произвела должный эффект – мечтаемый номер был получен.

С тех пор, кажется, я ни разу не останавливался в одесских гостиницах, а всегда обретался у Сани – на одной из улиц Куликова поля, возле вокзала.

Саня (по паспорту Исай) Авербух был одесситом до мозга костей. Он знал все исторические (в том числе требующие приставки «псевдо») мифы и предания своего города, все его байки и приколы, всю его подноготную. Бенья Крик, Сонька Золотая Ручка, Костя-моряк, которого «уважают и Молдаванка, и Пересыпь», входили в его ближний круг. Не говоря уже о таких значительных лицах, как Валентин Катаев, Евгений Петров, Исаак Бабель, Эдуард Багрицкий, Константин Паустовский, Юрий Олеша и другие выходцы из этих благословенных широт. (Написав слово «выходцы», я вспомнил призыв, который насмешливая молва приписывала местному ГАИ: «Водители! Бойтесь мест, откуда выходят дети!».)

Метафизическое приятельство с исторической одесской богемой и – шире – со всей российской словесностью было для Сани вполне натуральным. Как показала практика, «хаос иудейский», прохваченный и упорядоченный языком «страны пребывания», дает удивительные плоды. Саня писал стихи и знал их великое множество. Мало того, он был страстный толстовец (и специально приезжал в Москву в толстовский музей к Э.Г. Бабаеву, будущему моему коллеге по журфаку МГУ, чтобы тот проконсультировал

его дипломную работу)*. Его громадная библиотека, состоящая помимо прочего из редких, но сравнительно дешевых в этом городе книг, занимала практически всю квартиру. Сама же квартира в сложенном из тяжелых каменных плит доме была вытянута в одну линию – от прихожей до кухни. В раковине лениво ползали жирные тараканы, было душно, и регулярно пропадала бывшая летом в большом дефиците вода. (Уж не в Одессе ли родилось: «Если в кране нет воды, значит выпили жида»?) Правда, все это с лихвой возмещалось близостью моря. Мне всегда казалось, что море имеет некое тайное сходство с Саниной библиотекой. Позднее я нашел подтверждение этому у Мандельштама: «И море черное, витийствуя, шумит / И с тяжким грохотом подходит к изголовью...». Витийство – это качество речи. Витийствующее море – образ, конечно, литературный, но зиждущийся на внутреннем сродстве понятий. «И море, и Гомер – все движется любовью. Кого же слушать мне?» Очевидно, как и морю, «Гомеру», по словам другого поэта, тоже «не дано примелькаться» – чтобы не говорил, раз уж на то пошло, третий – гиперболический – поэт, ради которого мы ныне собрались в Одессе:

Никогда
Ничего не хочу читать.
Книги?
Что книги!

Может быть, именно море, библиотека а также свойственная Сане толстовская *упертость* (или, как сейчас бы сказали, *нонконформизм*) и сделали из него диссидента. Он не то чтобы был убежденным противником советской власти; просто его почти физически коробило от той непрестанной лжи, которой функционирование этой власти сопровождалось. Процесс Синявского и Даниэля, снятие Твардовского с поста редактора «Нового мира», вторжение в Чехословакию и т. д. и т. п. – все это воспринималось им как личная драма. Он, мятежный, искал бури.

* См. подробнее: Игорь Волгин «Как собеседника на пир...» Предисловие // Бабаев Э.Г. «Высокий мир аудиторий...» 2008, с. 7-32; См. также Вопросы литературы. – 2008, № 6, с. 7-30.

Но прежде всего – информации. Через его руки проходили горы самиздата. Он постоянно таскал с собой транзисторный приемник, переделанный таким образом, чтобы сквозь треск глушилок (которые, кстати, в Одессе были не столь ощутимы, как в Москве) различать «Голос Америки», ВВС, «Немецкую волну»... Он внимал Анатолию Максимовичу Гольдбергу, как в свое время его мать и отец – Юрию Левитану.

Саня родился в Киргизии, в эвакуации, но всю сознательную жизнь прожил в Одессе. У него были чудесные родители – Абрам Исаевич и Мальвина Исаевна: тождество отчеств как бы намекало на промыслительность их жизненного союза. Еврейские Филимон и Бавкида, они разговаривали на неподражаемом одесском наречии, были приветливы, хлебосольны и жертвенны по отношению к детям. Имелся еще младший Санин брат – Игорь (Ицхак), студент и спортсмен. Еще один член семьи – добрейшая тетя Люся, обожавшая племянников и владеющая всеми секретами русско-украинско-еврейской кухни. Я до сих пор помню приготовленные ею «синенькие».

Вообще, в Одессе любили поесть. Однажды ко дню рождения Мальвины Исаевны мне удалось купить на Привозе ящик ставриды. Что было непросто, поскольку в те годы из-за плохой экологии или по каким иным соображениям рыба стремилась прочь от здешних берегов. На 16-й станции Большого Фонтана, где у родителей Сани имелся крошечный летний домик, был устроен семейный пир. Собравшиеся под открытым небом родственники и знакомые в сладостном предвкушении обоняли, я бы рискнул сказать, жертвенный дым. Но когда на деревянном столе было водружено огромное блюдо с жареной ставридой, Сане вдруг вздумалось предварить слишком, на его взгляд, приземленный разгул гурманства чем-нибудь высокодуховным. Строго взглянув на публику, он принялся читать стихи Д. Самойлова «Пестель, поэт и Анна». Стихотворение, надо сказать, замечательное и исполненное чтецом с истинным воодушевлением, но *ad hoc* (то есть применительно к данному конкретному случаю) могущее показаться несколько длинноватым. На лицах слушателей отражалась довольно сложная гамма чувств: от пиетета к публично оглашаемому поэтическому слову до скрытого гастрономического

беспокойства, впрочем, вполне извинительного в виду остывающей рыбы.

Там Анна пела с самого утра
И что-то шила или вышивала.
И песня, долетая со двора,
Ему невольно сердце волновала.

Вспомнилось, что другая Анна (о которой снисходительный муж однажды заметил, что она не только пишет стихи, но и хорошо вышивает) родилась тут же, неподалеку, на 11-й станции Большого Фонтана.

...Отец и мать Сани, далекие от политики, отнюдь не были в восторге от его гражданских эскапад. В свою очередь, мои родители, искренне Саню любившие (приезжая в Москву, он всегда останавливался у нас на Профсоюзной), тоже за него беспокоились. Да, пожалуй, и за меня, до утра читавшего данные на одну ночь бледные самиздатовские копии или уменьшенные пересъемки. До сих пор помню испытанный мною шок по прочтении предсмертного письма Бухарина к будущим руководителям партии. Но не меньшее впечатление производила и набокковская «Лолита».

Легкомысленно игнорируя государственный интерес к поступающей на имя Сани корреспонденции, я вознамерился послать в Одессу свою новую стихотворную книжку. И, соответственно, сделал на ней довольно остроумную, как мне казалось, но в политическом отношении совершенно криминальную надпись. Прочитав текст, мой выдавший виды родитель устроил мне легкую выволочку. Пришлось заменить доверяемую почте максимуму на нечто идейно нейтральное: «Братьям Авербухам, крепким телом и духом». (Как выяснилось позднее, в своих опасениях отец оказался прав, но это уже другая история.)

Саня знакомился со многими заезжавшими в Одессу литераторами. Но ближе всего он сошелся и даже, можно сказать, подружился с Наумом Коржавиным – Эммой, как все его называли. Бесспорно, Коржавин импонировал Сане своим ссыльно-романтическим прошлым, своей неотмирностью и отвержением «свин-

цовых мерзостей» нашей общественной жизни. Но, думается, еще большее воздействие производила на Саню коржавинская поэзия – с ее рационалистическим устроением и внятным гражданским пафосом. («Какая сука разбудила Ленина, / Кому мешало, что ребенок спал...»; «А кони все скачут и скачут, / А избы горят и горят...»; «Мужчины мучили детей...» и т. д.) Стихотворные опыты самого Сани не избежали влияния его старшего наставника.*

Я изредка навещался в Одессу. Как-то провел пару недель с Саней и семьей Коржавина в уже упомянутом летнем домике. Мы, кто помоложе, не вылезали из моря и жарились на беспощадном одесском солнце. Эмма к нашим, как он выражался, военно-спортивным упражнениям относился весьма скептически, справедливо полагая, что загар необходим исключительно для умножения сексуальной привлекательности загорающих. Он говорил, что для него, книгочех и мыслителя, это совершенно излишне. Сам он входил в воду крайне неохотно, ссылаясь на низкую температуру и подчеркивая, что не принадлежит к семейству моржей, если даже и является одним из поминаемых в устной народной речи моржовых принадлежностей.**

Смех смехом, но самым незабываемым впечатлением того лета осталось для меня чтение «Вех». Это было какое-то зарубежное издание – и читалось оно, разумеется, не на пляже. Меня поразило совершенно необычный для моего историко-марксистского

* Когда в 1965 году у меня выходила первая книга стихов – с ужасным, без моего ведома пристегнутым к ней названием «Волнение» (в оригинале значилось: «Ночные города»), главный редактор издательства «Молодая гвардия» В. Осипов в строчках «громишь, авторитетов не ценя / Державина, Ошанина, меня» заменил «Ошанина» на «Коржавина» (Лев Иванович Ошанин был как-никак автором «Гимна демократической молодежи» и в комсомольском издательстве «громить» его было не с руки). Авторская досада от этой отеческой правки умягчалась сознанием некоторой фонетической выгоды – усилением полнозвучия в паре «Державин – Коржавин».

** Коржавин, как, впрочем, и все мы, охотно прибегал к обценной лексике, и раз во время нашего совместного пребывания в одном из Домов творчества почтил меня нелцеприятной эпиграммой:

Игорь Волгин с видом детским,
Хоть мужчина по годам,
Словно ..., Достоевским
Соблазняет милых дам.

разумения взгляд на русскую интеллигенцию и на случавшиеся с ней метаморфозы. Знакомая со студенческих лет фраза М. Гершензона (единственная доступная нам цитата из «Вех», приводимая в качестве иллюстрации морального падения авторов) – «благодарим ту власть, которая одна своими штыками защищает нас от гнева народного» – зазвучала совсем иначе, будучи поставленной в контекст. Ныне, когда я спрашиваю своих студентов о сборнике «Вехи» (он значится в учебной программе), меня удивляет полное равнодушие к этому тексту, который когда-то был откровением для многих из нас. Может быть, потому, что понятие «интеллигенция» для них такой же анахронизм, как, скажем, «коллежский ассессор»...

Не следует, однако, думать, что Саня проводил время исключительно в умственных словопрениях или, подобно Толстому, настойчиво внушал окружающим не употреблять убоины. Хотя иногда в нем и проступали черты, присущие фанатикам, пламенным революционерам и вообще подвижникам идеи. Порой даже внешне он напоминал негодующих библейских пророков. Но при всем при том не чурался скромных радостей жизни: был смешлив, ценил юмор и не обижался шуткам. Кроме того, он был влюбчив и, насколько я помню, добивался взаимности. У его приятеля Лёни Кисловского, «красивого и толстого парниши», как мы его называли, дедушка слыл искусным виноделом. Леня пригласил нас на дегустацию. Мы пробовали совсем помалу, но репертуар оказался столь обширен, что конца дегустации я не запомнил. А проснувшись, обнаружил своих товарищей в состоянии, близком к тому, в каком пребывал в одно прекрасное утро булгаковский Степан Лиходеев, неосторожно употребивший портвейн после водки.

Кстати, Леня повсюду таскал с собой тяжелый, под стать ему самому, фотоаппарат и непрерывно снимал нашу компанию (к сожалению, у меня сохранился лишь единственный снимок). Он был проницательный физиономист: ему хватало одного взгляда, чтобы определить характер и тайные пороки наблюдаемого лица. Во время одного из его приездов в Москву я, находясь перед *судьбоносным выбором*, познакомил его с тремя потенциальными избранницами. Леня мигом узрел нравственный изъян, сокрытый в мерцающем взоре одной из них: выиграв конкурс, она впоследствии блистательно подтвердила Ленин провидческий дар.

Сверхъестественные способности вообще характерны для одесситов. Тот же Саня, взяв желающих за руку, в точности исполнил задуманное ими: шел в нужную комнату, находил спрятанную вещь или книгу, писал на бумажке загаданное перципиентом число и т. п. Мои родители, звавшие Вольфа Мессинга, шутили, что Сане с его сверхчувственным даром пристойнее выступать на эстраде, нежели вязываться в опасные игры.

Между тем игры становились все жесточе. От общедиссидентских сюжетов Саня плавно переместился в еврейскую тему. Он усиленно читал Жаботинского, публично ратовал за право на выезд (алию) и вообще много о себе понимал. В свою очередь, попечительная власть сделала все, чтобы знаток и последователь Толстого, помнивший наизусть едва ли не всех русских поэтов, почувствовал себя изгоем и подал заявление в ОВИР. Я не был сторонником такого решения, но у меня не находилось аргументов противных.

Как уже говорилось, Саня был влюбчив. Но если его одесские романы были лишены, так сказать, национально-освободительной подоплеки, то рано или поздно она должна была появиться. Осенью 1970 года он собрался в Ригу, дабы сочетаться законным браком с Рут Александрович, одной из активисток тамошнего еврейского андерграунда. Двадцатитрехлетняя Рут работала медсестрой и, как Саня, требовала свободы выезда на историческую родину. Дней за десять до их бракосочетания в рижской синагоге Рут была арестована (антисоветская агитация и пропаганда, распространение сионистской литературы и т. д.) и после вызвавшего некоторый резонанс на Западе процесса получила год лагерей.

Тут начинается эпос: он войдет в анналы Одессы.

Саня потребовал от похитивших его невесту властей заочной регистрации брака (что, кстати, не возбранялось законом). Естественно, ему ответили отказом. Тогда Саня воззвал к главному раввину Израиля Иегуде Унтерману с аналогичной просьбой, полагая, что тот поддержит столь малое, но благородное желание. Израильский раввинат долго пребывал в сомнениях и раздумьях, но в конце концов, ссылаясь на предписания Талмуда и Торы, последовал примеру рижских законников. Говорили (не поручусь за точность слуха), что почтенному Иегуде

Унтерману побили в Иерусалиме все стекла. И что будто бы многие раввины Соединенных Штатов изъявили готовность немедленно *обвенчать* молодых.

Как бы то ни было, соломенный жених Исай Авербух обрел мировую славу. Он скромно сидел в Одессе в мастерской по ремонту электроприборов, дабы не быть обвиненным в тунеядстве, но толпы отказников стекались к нему за помощью и добрым советом. Уверяют (хотя и за это не могу поручиться), будто сам Генри Киссинджер звонил нашему Андрею Громыко – с настоятельной просьбой не трогать наладчика электросчетчиков из Одессы.

Помнится, я как-то заметил Сане, что уж теперь-то, ввиду мирового скандала, ему волей-неволей придется жениться. Однако мне не приходило в голову, что дело примет такой нешуточный оборот.

Однажды, уже после отъезда Сани, я услышал по одному из *вражеских голосов*, что в Тель-Авиве состоялась грандиозная свадьба. На церемонии присутствовали: глава правительства Голда Меир, министр обороны Моше Даян, лидер оппозиции (будущий премьер) Менахем Бегин и другие товарищи.

Съезжались к ЗАГСу трамваи –
Здесь шумная свадьба была...

Так Саня пережил свой звездный час.

Вскоре уехали и его родители, а после и тетя Люся (слышал, что она, почти столетняя, и поныне здравствует на Земле обетованной).

Через некоторое время Саня развелся и, кажется, был женат еще дважды или трижды. До меня доходили известия, что он участвовал в войне Судного дня, воевал в Ливане (о чем написал книгу стихов), много лет трудился в кибуце, взрыхляя жесткую землю Галилеи или Самарии и, может быть, вспоминая заветы Льва Николаевича Толстого. Но главное – работал экскурсоводом, растолковывая бывшим соотечественникам происхождение иудейских древностей.

Занятнее всего, что еще до отбытия Сани был срочно выпущен в Израиль его брат Игорь... Ввиду одинаковости инициалов обоих

братьев (И. А.) труженики ОВИРа, как в комедии переодеваний, спутали Игоря с Саней и поспешно выпихнули из страны вовсе не то лицо.

...Мы вновь увиделись – и то мельком – через много лет, на исходе перестройки. Саня мало изменился. Он заехал в Москву по дороге в Одессу, куда получил завидное назначение – представителем Сохнута, организации, занимающейся еврейской благотворительностью по всему миру. В свою очередь, брат Игорь возглавил в несытой тогда Москве отделение «Джойнт» (чье *зловещее* – со шпионским оттенком – имя памятно мне еще с четвертого класса, в связи с «делом врачей») и тоже занимался распределением продуктовых посылок.

Наконец-то в родной Одессе вечный оппозиционер Саня ощутил себя настоящим большим начальником. Через некоторое время он направил ко мне одну молодую филологиню, которая занималась Высоцким и которой он всячески покровительствовал. Мне вменялось споспешествовать ее ученой карьере. Я написал какие-то рекомендации, и дама отбыла на стажировку в Израиль, где вскоре вышла замуж за маститого профессора, заведующего кафедрой русистики – разумеется, выходца из наших палестин. Санин альтруизм, таким образом, оказался настолько безразмерным, что к нему вполне приложим пассаж Мити Карамазова о человеческой широте, которую не мешало бы сузить.

Прошло еще двадцать лет. Саня, слава богу, цел и здоров, живет в «центре мира» – Старом городе в Иерусалиме, и вроде бы написал огромный роман. Я, объездивший немало стран (даже такие отдаленные, как Бразилия и Япония), к своему огорчению и стыду, ни разу не побывал в Израиле. Не скрою, хотелось бы успеть.

* * *

Обо всем этом я размышлял, приехав в Одессу на литературный фестиваль, посвященный 120-летию со дня рождения Маяковского. Я не был здесь целую вечность. Город изменился не только внешне, изменилось то, что принято называть атмосферой.

«Невыносимая легкость бытия», видимо, стала еще невыносимей. Бесчисленные кафе на Дерибасовской и Ришельевской, расположенные прямо на улице («как в Европе») ресторанные столики, здание сверхдорогого отеля (куда там «Лондонской»!), надежно закрывающее вид на акваторию порта, – все это вещественные знаки свершившихся перемен. Правда, не очень чувствуется, что Одесса – территория сопредельного государства. Зато весьма ощутимо *иное время*: зыбкое, двусмысленное, ненадежное, с привкусом временщины – постсоветское. Как сказал по другому поводу Давид Самойлов:

И в той Москве, которой нет почти,
И от которой лишь осталось чувство...

Чувство от *той* Одессы осталось. Другой вопрос – кому это нужно.

На своем месте на Приморском бульваре памятник герцогу Ришелье. Я вспомнил, как Леня Кисловский (увы, ныне покойный) с его артистическим глазомером демонстрировал мне некую тайную точку (впрочем, прекрасно известную горожанам), с которой фигура Дюка, властно держащего свой вечно свернутый свиток, предстает в несколько комическом, чтобы не сказать непристойном виде.

(Кстати, в Москве в начале Большой Никитской, у бывшего здания Метростроя, помещается малозаметная, но впечатляющая скульптурная группа: вдохновенные лица строителей, тоже крепко сжимающих в рабочих руках древко то ли лопаты, то ли трудового красного знамени. Визуальный эффект при этом подобен одесскому. Нас, первокурсников находившегося рядом истфака, очень забавляла такая *инсталляция*. Все зависит от точки зрения.)

Восстановлен в Одессе и свернутый когда-то памятник Екатерине II, устроительнице Новороссии. Жаль, что нет памятника Павлу Ивановичу Чичикову, намеревавшемуся селить на этих чудных просторах (чуть было не сказал – в потемкинских деревнях!) приобретаемые по дешевке мертвые души. Отмечены мемориальными досками дома, в которых жили знаменитые одесситы.

Существует замечательный Литературный музей, где проходил наш фестиваль. Одесса по мере сил старается не забывать свое прошлое. Вообще, культурная мумификация, оберегание собственной мифологии и т. д. не всегда есть исключительно музейное дело. Это порой и следствие внутренней необходимости. Дух дышит где хочет, и никто не знает, что у него на уме.

...Понятно, почему фестиваль памяти Маяковского решили проводить именно здесь:

Это было,
было в Одессе.

Именно здесь прозвучало роковое «знаете, я выхожу замуж», что через пятнадцать лет, на исходе жизни, отзовется – почти дословно – парижской «изменой» Татьяны Яковлевой. Но второе «Облако» уже не будет написано.

В школьные годы мне нравилось в нем все – «от позы и до жесты». Десятиклассником, а затем и студентом, я не пропускал сходбища у только что открытого памятника. Имя того, кто высился на пьедестале, напрямую сопрягалось с недолгой и обманчивой эйфорией полусвободы, с казавшимся обновлением общей жизни. Разумеется, у памятника читали *его* стихи.* Позже стихотворное ослепление прошло, но сохранилось первое чувство, которое, как показывает опыт, не поддается позднейшей корректировке.

В отличие от Толстого, Маяковский не создал *учения* (и даже поглумился над великим старцем: «А с неба смотрела какая-то дрянь величественно, как Лев Толстой»). Но магнетическая мощь его голоса еще долго будет на слуху «товарищей потомков». Даже блистательная книга Ю.А. Карабчиевского (предтеча нынешних далеко не столь талантливых «антиахматовых» и «антипастернаков») не смогла изменить эту акустику: мнилось, что автор пытается наступить «на горло собственной песне». Так мстят за слишком горячую – слепую и нерассуждающую – любовь.

* См. подробнее: Поликоская Л. Мы предчувствие... предтеча. М., 1997; а также «На площади Маяковского» в кн.: Игорь Волгин. Возвращение билета. Парадоксы национального самосознания. – М., 2004.

...Едва ли не все представители «южнорусской школы» обожали Маяковского и считали его своим эстетическим гуру. (Интересно, обсуждалась ли эта тема в разговорах Катаева с Буниным, который на дух не переносил автора «Облака в штанах», во время последнего бунинского пребывания в Одессе в 1918 году?)

Еще в 1915 году юный Эдуард Багрицкий пишет «Гимн Маяковскому»:

Озверевший зубр в блестящем цилиндре –
Ты медленно поводишь остекленевшими глазами
На трубы, ловящие, как руки, облака,
На грязную мостовую, залитую нечистотами.

Этому почти апокалиптическому существу, получеловеку-полузверю, «вселенскому спортсмену в оранжевом костюме» (очевидно, в желтой кофте) лирический герой Багрицкого не без кокетства протягивает «свою выхолченную руку», и тот пожимает ее «уверенной ладонью, так что на белой коже остаются синие следы». Следы действительно остались.*

Сам «город у моря» всегда принимал автора «Флейты-позвончика» достаточно тепло, что неудивительно, если вспомнить полиэтничность его обитателей, их склонность к самоиронии, непровинциальность и восприимчивость к культурному многообразию.

Загадка, конечно, в самом его (то есть Маяковского) появлении. В какой-то мере его приход предвосхитили и Некрасов, и Саша Черный, и в известном смысле даже Д. Минаев и В. Курочкин. Однако где же *прямые* предшественники, с ним хотя бы сопоставимые? Никакой Державин его не благословлял. Бурлюк принял его с восторгом, можно сказать, *угадал*. Но в принципе, он мог бы так же приветствовать какого-нибудь способного графомана.

Его дебют – по неожиданности славы – в чем-то напоминает дебют Достоевского (правда, у автора «Бедных людей» в молодос-

* См. подробнее «Грядущий жизни зуд...» в кн.: Игорь Волгин. Возвращение билета. – М., 2004. – с. 496-515. См. тот же текст: Эдуард Багрицкий // Русская литература 1920-1930-х годов. Портреты поэтов. // М.: ИМЛИ РАН. – 2008. Т. 1, с. 713-731.

ти не было столь сокрушительных любовных коллизий). Лиля Брик справедливо заметила, что лирический герой Маяковского напоминает героев Достоевского. «Я» против всех, против «лика мира сего», ибо он неблагообразен. Это бунт Ивана Карамазова, возвращающего билет и жаждущего правды здесь и сейчас.

Наверное, «особые приметы» Маяковского (рост, бас, посадка головы, ширина плеч, крупность черт и т. д.) в немалой мере определили характер его стихотворчества. Ведь трудно вообразить, чтобы, обладая подобной внешностью, он писал бы, как Северянин. Его герой – подчеркнуто грубый, брутальный, до циничности откровенный, «срывающий все и всяческие маски», но в то же время застенчивый, одинокий «безукоризненно нежный» – он несомненно обладал большой сексуальной привлекательностью. Такой образ должен был импонировать девушкам. Так же, как – по контрасту – им нравилась изощренная лирическая томность автора «Ананасов в шампанском». Не этот ли конкретно («в шампанском!») экзотический плод предлагалось наряду с рябчиками употреблять буржуям – в знаменитом «слогане» 1917 года?

Сама новая, неточная, ассонансная рифма Маяковского (например, «мозгу – лоскут», которой открывается «Облако в штанах», и подобные которой, присутствуя в стихах нынешних моих студийцев, представляются мне результатом словесной неряшливости), все-таки колоссально раздвинула технические и смысловые возможности стиха. Это был фонетический прорыв. Маяковский нащупал звук. Главное, что он, этот звук, совпал со временем, с дисгармонией мира – его угловатостью, торжествующим (даже в физике!) релятивизмом, расшатанностью социальных и прочих скреп. И Блок, и Брюсов, и Мандельштам, и Ахматова, и даже ранняя Цветаева – все они существовали в русле старой «просодической» традиции. Можно представить реакцию первых слушателей Маяковского, ошеломленных не только неслыханным звуковым регистром и шокирующей метафористикой, но и самим обликом поэта (вернее, антипоэта, если брать за образец архетипическое «он кудрей откинул шелк»).

Недаром Брики приняли его с восторгом: Маяковский отвечал чувству исторического (и эстетического) ожидания.

Дело даже не в том, что поэзия ворвалась в прозу (это имело место еще у Пушкина – «и щей горшок, и сам большой») – сама эта «проза» была увидена новым поэтическим зрением. Она стала защитой от «слишком прозаического» и пошлого мира. «Хорошо, когда в желтую кофту / душа от осмотров укутана!».* Но с другой стороны: «душу выташу, / растопчу, / чтоб большая! – / и окровавленную дам, как знамя». Два, казалось бы, прямо противоположных стремления: на этой грани Маяковский и балансировал.

Его смерть, как и гибель Пушкина, всегда будет отзываться болью. «И меня только равный убьет», – сказал Мандельштам. Автора «Волка» и убил равный, если только возможно сравнивать сталинскую власть над людьми и предметами с властью поэта над словом. С Маяковским случилось иначе. Цветаева написала: «Двадцать лет человек убивал в себе поэта, и, наконец, поэт встал и убил в себе человека». Это так: силы были все-таки неравны. «Твой выстрел был подобен Этне» – он заглушил все ничтожные человеческие обстоятельства. Но как раз человека больше всего и жаль.

...

«Итак, я жил тогда в Одессе» (имею в виду свой нынешний приезд), вспоминая Саню (который, если я не ошибаюсь, тоже любил Маяковского – не только за стихи, но и за то, что он ненавидел антисемитов) и ревниво наблюдая современные одесские нравы. Мне показалось, что в городе стало значительно меньше красивых (и тем более – очень красивых) женщин – одной из главных примет прежней Одессы. Не зря же поэт с говорящим именем Туманский («В тумане скрылась милая Одесса») написал – еще в 1824 году:

И девы, томные наперсницы забав,
Потупя быстрый взор иль очи приподняв,
Равно прекрасные, сгорают наслажденьем
И душу странника томят недоуменьем.

* Кстати: «Хорошо, / когда брошенный в зубы эшафоту, / крикнуть: / «Пейте какао Ван-Гутена!» – пример впечатляющего пиара, когда сама смерть становится брендом. И не аукнется ли мистическим образом это «хорошо» 1915 года с «Хорошо!» года 1927-го?

Как сказано выше, все зависит от точки зрения.

...Пожилая чета туристов, приняв меня за аборигена, спросила дорогу, и я с достоинством объяснил, как попасть на Малую Арнаутскую. Никого из бывших знакомых не наблюдалось, за исключением местного поэта и переводчика Анатолия Яни. Он припомнил, как мы наведывались на толкучку, где был куплен тот самый галстук и где моя первая книжка продавалась за безумные деньги – пять рублей, столько же, сколько стоила выставленная тут же «Треугольная груша». Услышать такой мемуар было приятно.

В Литературном музее говорились речи и читались стихи. Как и встарь, довелось выступить на одесском телевидении. После эфира я чуть помедлил, будто чего-то ожидая. Но на сей раз никто так и не позвонил.

Москва

